

## Несколько слов от переводчика

Читать Симону Вейль не самое простое занятие. Поначалу может показаться, что она только и делает, что обманывает ожидания. По великолепной логике, математически точным формулировкам, «бьющим в десятку» афоризмам, по неизменно оригинальному и зоркому взгляду, по массе деталей, открывающих в авторе блестящие умственные способности, ждешь изоощренного академического исследования, анализа, будто анатомическим ножом вскрывающего философские теории, факты политики, экономики или культуры. Ждешь явления интеллекта, как побеждающей силы. (Таковы, может быть, специфические ожидания читателя-мужчины.) Но очень быстро за всеми железными доспехами логики и эрудиции разглядываешь девушку, готовую в каждую минуту философского или актуально-политического исследования бросить в сторону логику, наплевать на любые факты и просто расплакаться. Читатель-женщина, напротив, скоро начинает изнемогать от занудности этих, кажется, сухих и оторванных от жизни формул: она будто слышит противный, монотонный голос занудной «училки», невыносимого «синего чулка». (Говорят, что Симона говорила несколько в нос, монотонно-упрямый нажим ее речи подчас приводил в бешенство оппонентов.) Ну и уж, конечно, любого современного читателя того и другого пола напрочь отвращает тон проповедника и морализатора, «сестры из Армии спасения». А что говорить об исторических тезисах и характеристиках, которые кажутся порой вопиюще-безосновательными, об исторических антипатиях на грани фобии... Словом, Симона Вейль способна разочаровать и оттолкнуть и «простого» читателя, и «ученого».

Чтобы читать Симону Вейль, надо узнать в ней живого человека, почувствовать его не столько в словах, как за словами. А этот внутренний человек виден для внимательного глаза повсюду: на ее фотографиях, на этом некрасивом лице (говорить о ее некрасивости почему-то считал долгом каждый французский интеллигент, видевший хоть раз; например, Жан Ламбер, зять Андре Жида, в 1940 г. записывает в дневнике: «Она до того некрасива, что мне даже стыдно показываться на улице с ней рядом») – на этом лице, где глаза действуют магнетически сквозь семь десятилетий; он виден в эмоциональном напряжении, которое сообщают ее рукописи, по виду напоминающие эзотерические трактаты. То, как описывал Симону через полвека лет после встречи окситанский поэт Жан Тортель, передает эффект живого, неуходящего присутствия.

*«Словно конус из черной шерсти, без тела, она походила на ночную птицу. Она имела очень большой и искривленный рот; но, несмотря на этот рот, если бы к ней тянуло физически, она была бы невероятно сексуально и чувственно привлекательной. (...) Да, она была невозможной, но –*

*реальностью. (...) Фигура будто из Судного дня, в ней было что-то пугающее...»*

Прочитав на днях эти воспоминания девяностолетнего старика, я, видевший Симону только на нескольких плохоньких фото, в точности узнаю собственное ощущение, испытываемое от ее текстов. Ощущение нешуточного страха и – бесконечной притягательности. Дело даже не в ее огромном уме и, может быть, даже не в ее феноменально чуткой совести. Медленно вживаясь во внутреннюю жизнь Симоны, что выплескивается в текстах, открываешь перед собою безмерную полноту бытия, заполняющую даже пробелы, пустоты, раны ее личности и опыта, полноту, которой хватило бы напитать целые поколения.

Симона, может быть, не «умнее», скажем, чем Ницше – возьмем близкий пример по уровню и характеру знаний. Но если говорить о полноте... Ницше, по его собственному признанию, – разреженный воздух горных высот, где нечем дышать, где мало кому не грозит гибель. Симона – это теплая темнота материнской утробы, где главное, т. е. рождение и познание, еще впереди. Ум Ницше, как и любого великого мыслителя, несомненно, подталкивается ответственностью перед историей за полученное им знание. Но на своих вершинах он не удерживает, сбрасывает с себя эту ответственность – и вместе с нею теряет себя самого в безумии. Симона Вейль, не познавшая в жизни ни плотской любви, ни деторождения, о своей ответственности – нежной (ее слово) ответственности матери – не забывает ни на секунду. Чувствуя краткосрочность своего земного века, она, пока существует, пока в состоянии мыслить – вынашивает в себе то, что, как она верит, народится уже без нее, то, чем будет жить – чем, по ее убеждению, будет жив – мир.

За месяц до смерти она пишет матери из больницы: *«...Во мне есть золотой запас, который следует передать дальше. То, что я вижу в моих современниках, все больше убеждает меня: никто не хочет им владеть. Это цельный слиток. Все, что прибавляется к нему, немедленно сплавляется с остальным. По мере того как слиток растет, он становится все компактнее. Я не могу раздробить его на мелкие части. Чтобы принять его, требуется усилие... Что касается потомков – даже если когда-нибудь снова народится поколение с мускулами и разумом, печатные труды и рукописи нашей эпохи к тому времени, несомненно, исчезнут материально. Это меня не беспокоит. Золотая жила неисчерпаема...»*

Статья «Илиада», или поэма о силе» родилась из курса занятий по греческой литературе, который Симона вела в 1937/38 учебном году в лицее города Сен-Кантен. В январе ей пришлось взять отпуск по болезни. За последующие месяцы изнурительных физических болей, в те промежутки,

когда она могла собрать силы для умственной работы, ее мысли постепенно оформлялись в статью. Впрочем, одновременно Симона много писала по текущей политике, участвовала, как всегда в массе общественных дел, а также смогла предпринять путешествие в Италию. Таким образом, работа, относительно небольшая по объему, потребовала не меньше года. За это время в жизни Европы произошло немало зловещих событий: гитлеровский аншлюс Австрии, «судетский кризис», аннексия Чехословакии, оккупация итальянцами Албании. Истекали последние дни Испанской республики. Хотя большая война еще не разразилась, хотя европейцы по привычке продолжали считать, что живут в мирное время, – читая статью Симоны Вейль, будто слышишь не грохот мечей о щиты, а лязг танковых колонн и рев мотоциклов. Чувство войны передано настолько живо и изнутри, что удивляешься, что текст написан 29-летней девушкой. У Симоны Вейль были за плечами некоторые, минимальные, военные впечатления: в 1936 году она провела 40 дней в Испании, из которых в военном лагере меньше недели. Впрочем, и этого ей хватило, чтобы понять и осмыслить безмерно многое.

Статьей об «Илиаде», при всей ее простоте и «неакадемичности», восхищаются многие. Американская писательница и критик Элизабет Хардвик называет ее «одним из самых волнующих и оригинальных литературных эссе, которые были когда-либо написаны». Но в том и дело, что эта статья не есть литературное эссе, в узком смысле слова. Читая, не раз задумываешься, о чем она – о поэзии, о морали, о психологии, о войне, о религии? Обо всем сразу – как всегда у Симоны Вейль. Все что она ни писала, на любую тему, есть упорный поиск правды и полноты жизни. Поиск Бога и жизни в Боге. Статья об «Илиаде» является в большей степени религиозным трактатом, чем литературоведческим исследованием. С одной стороны, это первая христианская работа Симоны Вейль. Здесь впервые она говорит о Боге, воплотившемся в человеке. Но это и революционная, взрывная, по отношению к любому конфессиональному христианству, статья. Здесь Христос – ее Христос – воплощается в крови и предсмертных криках убиваемых греков и троянцев, в раздирании человеческой души, пораженной насилием, – но и в моментах «сверхъестественной любви и справедливости», которые, словно искры в ночи, вспыхивают среди мрака борьбы и уничтожения. Ее Христос воплощается в пении слепого поэта, и поэма о бранях и «гневе Ахиллеса, Пелеева сына» становится языческим благовестием, прото-евангелием богочеловеческой любви, которое не умолкает и не теряет своего значения спустя двадцать веков христианства. И грядущая на Европу новая эпоха браней и человеческих гекатомб делает «Илиаду» вновь близкой и родной западному человечеству, дает ключ к пониманию сегодняшнего дня, к практическому поведению каждого дня.

Переживи Симона войну, для нее никогда не встал бы вопрос о возможности «верить в Бога после Аушвица». Ибо ее Бог как раз там – в

Аушвице, в каждой засыпанной взрывом траншее, под каждым разрушенным бомбами домом – в Ковентри или в Дрездене, в Сталинграде или в Хиросиме...

Петр Епифанов

**Симона Вейль**

### **«ИЛИАДА», ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ<sup>1</sup>**

Подлинным героем, подлинной темой, подлинным центром «Илиады» является сила. Сила, которой распоряжаются люди, сила, подчиняющая людей, сила, перед которой сжимается человеческая плоть. Мы постоянно наблюдаем здесь, как отношения силы изменяют человеческую душу, как увлекает и ослепляет душу сила, которую она, казалось бы, имеет в своем распоряжении, как сгибает душу гнет силы, когда она ему подвергается. Те, кому мечталось, что благодаря прогрессу сила уже отходит в прошлое, могут рассматривать поэму Гомера как исторический документ. Но те, кто способен видеть, что сила и сегодня, как прежде, находится в центре всей истории человечества, найдут в «Илиаде» самое лучшее, самое чистое из зеркал.

Сила есть то, что превращает в вещь каждого, на кого она воздействует. Действуя до своего предела, сила делает человека вещью в самом буквальном смысле: она делает его трупом. Был человек, миг – и нет никого. «Илиада» не устает показывать нам эту картину:

*...много коней крутошеих*

*С грохотом мчало в прорывы меж войск колесницы пустые,  
Жадно томясь по возницам. А те по равнине лежали,  
Больше для коршунов, чем для супруг своих милые видом<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> Статья, написанная в 1938–1939 гг., впервые опубликована в марсельском журнале «Cahiers du Sud» под псевдонимом Emil Novis, № 230 и 231, декабрь 1940 – январь 1941 г. Переведена по изд.: Simone Weil. Œuvres. Gallimard, collection «Quarto», 1999, pp. 529–551. Статья об «Илиаде» была первым произведением Симоны Вейль, вышедшим из печати на русском языке («Новый мир», №6, 1990). Перевод А. Суконика выполнен с английского текста, к тому же напечатан в сокращенном виде. Сокращения, составляющие до трети оригинального текста, в новомирской публикации никак не оговариваются.

<sup>2</sup> Илиада, песнь 11, 159–162 (Битва Агамемнона с Гектором. Перевод В. Вересаева. Этот перевод, в художественно-стилистическом отношении уступающий переводу Н. Гнедича, по своей буквальной верности значительно ближе к французскому переводу Симоны Вейль. Сама Симона в журнальной публикации сопроводила текст примечанием: «Цитированные места представлены в новом переводе.

Герой стал вещью, которую тащит в пыли колесница:

*...растрепались*

*Черные волосы, вся голова, столь прекрасная прежде,  
Билась в пыли. В то время врагам громовержец Кронион  
Дал над трупом его надругаться в его же отчизне<sup>3</sup>.*

Горечь этой сцены нам дано вкусить в чистом виде; Гомер не пытается разбавить ее никакими ободряющими фантазиями. Ни тебе утешительного «бессмертия», ни пошлого ореола «славы» или «родины».

*Члены покинув его, душа отлетела к Аиду.  
Плачась на участь свою, покидая и крепость, и юность<sup>4</sup>.*

Еще добавляет горечи – так болезнен этот контраст! – внезапно возникающее и тут же исчезающее напоминание об ином мире, о далеком, непрочном и трогательном мире домашнего покоя, семьи, где каждый человек для своих близких есть самое дорогое:

*А пышноколым служанкам своим приказала поставить  
Медный треножник большой на огонь, чтобы теплая ванна  
Гектору в доме была, когда он вернется из битвы.  
Не было в мыслях у глупой, что Гектор, вдали от купаний,  
Через ахиллесовы руки смирен совоокой Афиной<sup>5</sup>.*

Поистине, он был далек от теплых ванн, несчастный. И не только он. Почти все действие «Илиады» проходит вдали от теплых ванн. Почти вся жизнь человеческая всегда проходила вдали от теплых ванн.

Сила, которая убивает, – лишь суммарный и грубый образ силы. Насколько же более разнообразна в своих методах, насколько более изощрена в своих эффектах другая сила, та, что не убивает. Скажем так: которая еще не убивает. Обязательно ли она убьет, или, может быть, убьет, или только задержалась над головой того, кого готова убить в любой момент: в любом случае она обратит человека в камень. Из власти превратить человека в вещь, убив его, проистекает другая власть, тоже способная на чудесные превращения в своем роде: это власть обращать в камень еще живого человека. Он жив, у него есть душа; и, однако, он – вещь. Очень странное существо – одушевленная вещь; странно для души это состояние.

---

Каждая строка передает соответствующий стих греческого текста, все переносы и анжамбеманы тщательно воспроизводятся; порядок греческих слов внутри каждого стиха, насколько возможно, соблюден».

<sup>3</sup> Песнь 22, 401-404 (труп Гектора, влекомый за колесницей).

<sup>4</sup> 22, 362-363 (смерть Гектора).

<sup>5</sup> 22, 442-446 (Андромаха, ожидающая Гектора с поля боя).

Кто сможет высказать, сколько душе приходится поминутно скручиваться и сгибаться, чтобы к нему приспособиться? Она ведь не создана обитать в вещи; когда ее к тому принуждают, в ней не остается ничего, что не страдало бы от насилия.

Безоружный и нагой человек, на которого направлено копьё, становится трупом еще до того, как его коснется оружие. Еще мгновение он на что-то рассчитывает, что-то делает, на что-то надеется:

*Так размышлял он и ждал. А тот приближался в смятенье,  
Чтобы с мольбою колени обнять Ахиллеса. Всем сердцем  
Смерти злой избежать он стремился и сумрачной Керы...*

.....  
*...одною рукой с мольбой обнимал его ноги,  
Острую пику другой ухватил и держал, не пуская<sup>6</sup>.*

Но скоро он понял, что копьё от него не отведут. И вот, все еще дыша, он уже не более как вещь; все еще думая, он не способен думать ни о чем.

*Так Приамов блистательный сын обращался к Пелиду  
С словом мольбы; но в ответ неласковый голос услышал...*

.....  
*У Ликаона мгновенно расслабли колени и сердце.  
Выпустил пику из рук он и на землю сел, распростерши  
Обе руки. Ахиллес же, свой меч обнажив отточенный,  
Около шеи ударил в ключицу, и в тело глубоко  
Меч погрузился двуострый. Ничком Ликаон повалился.  
Черная кровь выливалась и землю под ним увлажала<sup>7</sup>.*

Когда, вне всякого сражения, слабый и безоружный чужак умоляет воина, он тем самым не обрекает себя на смерть; но одним нетерпеливым движением воин может отнять у него жизнь. И этого довольно, чтобы плоть его утратила главное свойство живой материи. Кусочек плоти свидетельствует о том, что он жив, прежде всего способностью вздрогнуть; лапка лягушки под током вздрагивает. Вид вблизи или прикосновение чего-то ужасного или устрашающего заставляет содрогнуться любую массу из плоти, нервов и мускулов. Только тот, кто просит пощады – не вздрагивает, не трепещет, ему не оставлено даже это; сейчас он прильнет губами к предмету, который более всего внушает ему ужас:

*В ставку великий Приам незаметно вошел и, приблизясь,  
Обнял колени Пелида и стал целовать его руки, –  
Страшные, кровью его сыновей обагрённые руки<sup>8</sup>.*

---

<sup>6</sup> 21, 64-66, 71-72 (описание смерти Ликаона).

<sup>7</sup> 21, 114-119.

Вид человека, доведенного до такой степени несчастья, леденит почти как вид трупа.

*Так же, как если убьет человек в ослепленье тяжелом  
Мужа в родной стороне и, в другую страну убежавши,  
К мужу богатому входит и всех в изумленье ввергает,  
Так изумился Пелид, увидав боговидного старца;  
Так изумилися все и один на другого глядели<sup>9</sup>.*

Но пройдет лишь мгновение, и самое присутствие страдальца будет забыто.

*Плакать тогда об отце захотелось Пелееву сыну.  
За руку взяв, от себя старика отодвинул он тихо.  
Плакали оба они. Припавши к ногам Ахиллеса,  
Плакал о сыне Приам, о Гекторе мужеубийце.  
Плакал Пелид об отце о своем, и еще о Патрокле.  
Стоны обоих и плач по всему разносились дому<sup>10</sup>.*

Не бесчувственность побудила Ахилла одним мановением оттолкнуть на землю старца, обнимавшего ему колени; напротив, слова Приама, вызвав у него в памяти образ старого отца, тронули его до слез. Просто он вдруг обнаруживает себя столь свободным в своих отношениях, в своих движениях, как если бы его колен касался не умоляющий человек, а бездушный предмет. Любое человеческое существо рядом с нами обладает некой властью одним своим присутствием остановить, задержать, изменить любое движение, намеченное нашим телом. Прохожий заставляет нас свернуть с дороги иным образом, чем это сделала бы табличка с надписью. Когда мы дома одни, мы встаем, ходим по комнате и снова садимся не так, как если бы у нас был гость. Но это необъяснимое влияние человеческого присутствия теряется у людей, которых одно нетерпеливое движение другого человека может лишить жизни – и еще прежде, чем его мысль успеет приговорить их к смерти. Перед этими людьми другие ведут себя так, будто их здесь нет; в свою очередь, перед угрозой быть мгновенно превращенными в ничто – они как будто и сами превращаются в ничто. Толкнешь их – они упадут, а упавши, останутся на земле до тех пор, пока кому-нибудь не придет в голову их поднять. Но даже если их поднимут, если их удостоят теплого слова, они все равно не решатся принять это воскрешение всерьез, не посмеют выразить свое желание; раздраженный голос моментально повергает их в молчание.

---

<sup>8</sup> 24, 477-479 (Приам упрощивает Ахилла вернуть ему тело убитого сына).

<sup>9</sup> 24, 480-484.

<sup>10</sup> 24, 507-512.

*Так он сказал. Испугался старик и послушал приказа*<sup>11</sup>.

В лучшем случае, умоляющие, однажды получив милость, вновь становятся такими же людьми, как и остальные. Но есть существа более несчастные, которые, не умирая, остаются вещью в течение всей жизни. В их днях нет больше ни отрады, ни простора, ни места для воли, которая исходила бы от них самих. Это не значит, что их жизнь суровее, чем у других, или что они поставлены ниже в социальном отношении; просто это уже иная человеческая порода – компромисс между человеком и трупом. Что человек может быть вещью – это противоречит логике; но когда невозможное делается реальностью, тогда противоречие становится в душе разрывом. Ежеминутно эта вещь стремится быть мужчиной, женщиной – но ей это ни на миг не удастся. Смерть, растянувшаяся на целую жизнь; жизнь, которую смерть парализовала задолго прежде, чем ее прекратить.

Вот участь, которая ждет девственную дочь жреца:

*Не отпущу я ее! Состарится дочь твоя в рабстве,  
В Аргосе, в нашем доме, от тебя, от отчизны далеко,  
Ткацкий станок обходя и постель разделяя со мною*<sup>12</sup>.

Молодую женщину, молодую мать, жену царского сына, такая судьба ожидает:

*Будешь, невольница, в Аргосе ткать для другой, или воду  
Станешь носить из ключей Мессеиды или Гипперей:  
Необходимость заставит могучая, как ни печалься*<sup>13</sup>.

А вот что суждено мальчику, наследнику царского скипетра:

*Быстро отсюда их всех увезут в кораблях бысролетных,  
С ними со всеми – меня. И сам ты, о сын мой, за мною  
Следом пойдешь, чтобы там неподобную делать работу,  
Для господина стараясь свирепого...*<sup>14</sup>

Такая судьба ребенка в глазах его матери страшна, как сама смерть; супруг желает погибнуть прежде чем увидит, как эта судьба свершится над его супругой; отец призывает все кары неба на войско, которое обрекает на такую судьбу его дочь. Но на кого обрушивается эта жестокая судьба, в тех она стирает способность проклинать, возмущаться, сравнивать, размышлять

---

<sup>11</sup> 24, 571.

<sup>12</sup> 1, 29-31 (отказ Агамемнона вернуть Хрисеиду ее отцу).

<sup>13</sup> 6, 456-458 (прощание Гектора с Андромахой).

<sup>14</sup> 24, 731-734 (речь Андромахи, обращенная к ее сыну Астианаксу после смерти Гектора).

о будущем и о прошлом, почти что даже и вспоминать это прошлое. Ибо не дело раба – хранить верность своему городу и своим умершим.

Зато когда пострадает или умрет один из тех, кто отобрал у него все, разграбил его город, перебил у него на глазах его родных, вот тогда-то раб плачет. А почему не плакать? Ведь только тогда ему и позволены слезы. Они ему даже вменены в обязанность. Впрочем, слезы у раба разве не готовы излиться всякий раз, когда за плач не угрожает наказание?

*Так говорила, рыдая. И плакали женщины с нею, –  
С виду о мертвом, а вправду – о собственном каждая горе<sup>15</sup>.*

Ни в какой ситуации рабу не позволено выразить чего-либо другого, как только сочувствие своему господину. Вот почему, если среди столь мрачной жизни в душе раба и возникнет некое чувство, способное ее согреть, оно будет не чем иным, как любовью к господину. У раба для способности к любви любой другой путь закрыт – подобно тому, как оглобли, вожжи и удила не дают запряженному коню идти никаким путем, кроме одного. И если каким-то чудом рабу представится надежда некогда вновь стать кем-то, – до какой степени не дойдут его признательность и любовь к тем самым людям, перед которыми его недалекое прошлое должно было бы внушать ему один только ужас:

*Мужа, которого мне родители милые дали,  
Я увидала пронзенным пред городом острою медью,  
Видела братьев троих, рожденных мне матерью общей,  
Милых сердцу, – и всех погибельный день их настигнул.  
Ты унимал мои слезы, когда Ахиллес быстроногий  
Мужа убил моего и город Минеса разрушил.  
Ты обещал меня сделать законной супругой Пелида,  
Равного богу, во Фтию отвезть в кораблях чернобоких,  
Чтобы отпраздновать свадебный пир наш среди мирмидонцев.  
Умер ты, ласковый! Вот почему безутешно я плачу!<sup>16</sup>*

Никто не теряет больше, чем раб; ведь он теряет всю свою внутреннюю жизнь. И он не вернет ее, даже в малой степени, разве что если появится возможность изменить свою участь. Таково царство силы: оно простирается так же далеко, как и царство природы. Ведь и природа, когда требуют ее жизненные нужды, заглушает всю внутреннюю жизнь – и даже материнскую скорбь:

*Пищи забыть не могла и Ниоба сама, у которой  
Разом двенадцать детей нашли себе смерть в ее доме, –*

---

<sup>15</sup> 19, 301-302 (плач Брисейды о смерти Патрокла).

<sup>16</sup> 19, 291-300 (плач Брисейды).

*Шесть дочерей и шесть сыновей, цветущих годами.  
Стрелами юношей всех перебил Аполлон сребролукий,  
Злобу питая к Ниобе, а девушек всех – Артемида.  
Мать их с румяноланитной Лето пожелала равняться:  
Та, говорила, лишь двух родила, сама ж она многих!  
Эти, однако, хоть двое их было, но всех погубили.  
Трупы кровавые девять валялися дней. Хоронить их  
Некому было: народ превращен был Кронионом в камни.  
Их на десятый лишь день схоронили небесные боги.  
Вспомнила все ж и Ниоба о пище, как плакать устала<sup>17</sup>.*

Не передать острее горе человека, чем изобразив его потерявшим способность чувствовать свое горе.

С того момента, как сила приобретает власть над жизнью и смертью другого человека, она так же тиранически правит его душой, как и смертельный голод. Она правит с таким холодом, с такой суровостью, будто власть безжизненной материи. Человек, повсюду чувствующий себя столь слабым, и посреди городов так же одинок, и даже еще более одинок, чем тот, кто потерялся в пустыне.

*Глиняных два кувшина есть в зевсовом доме великом,  
Полны даров, – счастливых один, а другой – несчастливых.*

.....

*Тот же, кому только беды он даст, – поношения терпит,  
Бешеный голод его по земле божественной гонит,  
Всюду он бродит, не чтимый никем, ни людьми, ни богами<sup>18</sup>.*

Но как без милосердия сила крушит несчастных, так немилосердно опьяняет она всякого, кто обладает ею (или думает, что обладает). На самом деле ею не обладает никто. Люди не разделяются в «Илиаде» на побежденных, рабов и просителей, с одной стороны, и победителей и вождей – с другой. Здесь нет ни одного человека, который в какой-то момент не был бы вынужден склониться перед силой. Воины, хотя они свободны и отлично вооружены, не менее других несут бремя ее велений и ударов.

*Если же видел, что кто из народа кричит, то, набросаясь,  
Скиптром его избивал и ругал оскорбительной речью:  
«Смолкни, несчастный! Садись-ка и слушай, что скажут другие,  
Те, что получишь тебя! Не воинствен ты сам, малосилен,  
И не имел никогда ни в войне, ни в совете значенья<sup>19</sup>.*

<sup>17</sup> 24, 602-613 (говорит Ахилл Приаму, предлагая ему вкусить у него пищу и утешиться на время о смерти Гектора).

<sup>18</sup> 24, 527-528, 531-533.

<sup>19</sup> 2, 198-202 (здесь и ниже речь об Одиссее).

Терсит дорого платит за свои слова, хотя они вполне разумны и подобны словам Ахилла:

*Молвил и скиптром его по спине и плечам он ударил.  
Сжался Терсит, по щекам покатились обильные слезы;  
Вздулся кровавый синяк полосой на спине от удара  
Скиптра его золотого. И сел он на место в испуге,  
Скорчась от боли и, тупо смотря, утирал себе слезы.  
Весело все рассмеялись над ним, хоть и были печальны<sup>20</sup>.*

Но и сам Ахилл, гордый, никем не побежденный герой, в самом начале поэмы предстает плачущим от унижения и бессильной боли, когда на его глазах увели женщину, что он хотел сделать своей женой, а он не осмелился даже противоречить.

*Тотчас покинул,  
Весь в слезах, друзей Ахиллес и, от всех в отдалении,  
Сел близ седого прибоя, смотря в винночерное море...<sup>21</sup>*

Агамемнон сознательно унижает Ахилла, желая показать, кто тут хозяин:

*...чтобы ясно ты понял,  
Силой насколько я выше тебя, и чтоб каждый страшился  
Ставить со мною себя наравне и тягаться со мною!<sup>22</sup>*

Но спустя несколько дней сам верховный вождь в свою очередь плачет, вынужденный смириться, умолять, и ему еще больнее оттого, что эти мольбы напрасны<sup>23</sup>.

Ни один из сражающихся не избавлен и от того, чтобы испытать бесчестие страха. Герои трепещут, как и все прочие. Один только вызов Гектора приводит в замешательство всех греков без исключения, кроме разве что Ахилла и его воинов, которые отсутствуют.

*Так он сказал. В глубочайшем молчаньи сидели ахейцы.  
Вызов стыдились отвергнуть, равно и принять ужасались<sup>24</sup>.*

---

<sup>20</sup> 2, 266-270.

<sup>21</sup> 1, 348-350.

<sup>22</sup> 1, 185-187.

<sup>23</sup> Тема песни 9 («Посольство»).

<sup>24</sup> 7, 92-93.

Но стоило выступить вперед Аяксу, и страх овладевает противоположным лагерем:

*Трепет ужасный объял у троянца у каждого члены;  
Даже у Гектора сердце в могучей груди задрожало.  
Но уж не мог он никак отступить и в фаланги троянцев  
Скрыться назад...<sup>25</sup>*

Через два дня и Аякс испытает ужас:

*Зевс же, высоко царящий, испуг ниспослал на Аякса.  
Стал он в смущении, за спину щит семикожный закинул,  
Вздрыгнул, взглянувши, как зверь, на толпу...<sup>26</sup>*

Сам Ахилл однажды затрепещет и завопит от страха, правда, не перед человеком, а перед рекой. За исключением Ахилла, абсолютно все персонажи показаны нам в какой-то момент побежденными. Доблесть героя меньше участвует в решении исхода борьбы, чем слепой рок, представленный золотыми весами Зевса:

*Взял промыслитель Кронид золотые весы, и на чаши  
Бросил два жребия смерти, несущей печаль и страданья, –  
Жребий троян конеборных и меднодоспешных ахейцев.  
Взял в середине и поднял. Ахейских сынов преклонился  
День роковой. До земли опустилася участь ахейцев<sup>27</sup>.*

Этот рок, будучи слепым, устанавливает что-то вроде справедливости, тоже слепой, которая настигает людей, взявшихся за оружие, карой возмездия. «Илиада» сформулировала этот закон задолго до Евангелия и почти в тех же терминах:

*Равен для всех Эниалий: и губящих также он губит<sup>28</sup>.*

Каждому ли из людей от рождения суждено страдать от насилия? – вопрос, на который власть обстоятельств запирает человеческий разум, как на ключ. Ни сильный не силен абсолютно, ни слабый не слаб абсолютно, но ни тот, ни другой не знают этого. Они не верят, что они суть одно и то же: слабый не считает себя подобным сильному, как и тот не рассматривает его в этом качестве. Обладающий силой проходит сквозь среду, не оказывающую сопротивления, и в человеческой массе вокруг него никто не проявляет

---

<sup>25</sup> 7, 215-218.

<sup>26</sup> 11, 544-546.

<sup>27</sup> 8, 69-72.

<sup>28</sup> 18, 309 (ответ Гектора к Полидамасу, требующему продолжения битвы. Эниалий – одно из культовых имен Ареса. Первоначально, в микенскую эпоху, было именем отдельного божества).

нормального человеческого свойства – образовывать между порывом к действию и действием краткий интервал, который занимает мысль. Где не находится места для мысли, там не остается места ни для справедливости, ни для осмотрительности. Вот почему люди с оружием поступают так жестоко и безрассудно. Их копье пронзает безоружного врага, поверженного к их ногам; они торжествуют над умирающим, расписывая ему те бесчестия, которым будет подвергнуто его тело<sup>29</sup>. Для Ахилла так же естественно заклать двенадцать троянских юношей над погребальным костром Патрокла, как для нас – срезать цветы на могилу<sup>30</sup>. Сильные, в то самое время как используют свою власть, никогда не раздумывают, что последствия их поступков, в свой черед, однажды пригнут к земле их самих. Когда ты можешь одним словом заставить старца умолкнуть, затрепетать и повиноваться, разве подумаешь о том, что проклятия жреца будут иметь важность в очах небожителей<sup>31</sup>? Разве удержишься отобрать у Ахилла любимую им женщину, если знаешь, что ни она, ни он не посмеют воспротивиться? Ахилл, с удовольствием наблюдая за жалким бегством греков, разве может подумать, что это бегство, которое происходит теперь и которое будет прекращено по его воле, приведет к гибели его друга и, затем, его самого? Получается, что те, кого судьба одалживает силой, гибнут из-за того, что слишком полагаются на силу.

Их гибель неизбежна: не считая свою силу ограниченной величиной, они и свои отношения с другими не рассматривают как баланс неравных сил. Присутствие других людей не обязывает их делать в их движениях паузы, из которых только и происходит наше внимание к себе подобным. Из этого они выводят, что судьба предоставила им право на всё, а тем, кто ниже их, не позволено ничего. По этой причине они выходят за пределы силы, которая им принадлежит. Они неминуемо переходят границы, забывая, что их сила ограничена. Отчаянно отдаются они на волю случая, и вещи больше им не повинуются. Им иногда везет; в другой раз случай им препятствует, и вот, они оказываются наги перед лицом несчастья, утратив доспехи могущества, чем прикрыть душу, утратив всё, что могло бы сдержать их бессильные слезы.

Эта кара, с геометрической строгостью постигающая всякое злоупотребление силой, была у греков первостепенным предметом размышлений. В этом вся душа гомеровского эпоса. Эта идея, в лице Немезиды, является главной пружиной действия в трагедиях Эсхила. Пифагорейцы, Сократ, Платон – все исходили из нее, мысля о человеке и космосе. Это понятие было усвоено повсюду, куда проник эллинизм. Может быть, именно это греческое понятие сохранилось под именем кармы в тех странах Востока, чья культура пропитана буддизмом. Но Запад, утратив его,

---

<sup>29</sup> 22, 354 (Ахилл оскорбляет умирающего Гектора).

<sup>30</sup> 23, 175.

<sup>31</sup> 1, 10 и дальше. В публикации стоит слово *devins* – прорицатели, что кажется мне опечаткой. В соответствующем месте «Илиады» упоминается только один прорицатель. Более подходило бы по смыслу *divins* – божеества, небожители.

ни в одном из своих языков не имеет теперь даже слова, чтобы ее выразить. Идеи предела, меры, равновесия, которые должны были бы определять жизненное поведение, не имеют ныне другого применения, кроме служебного – в технической сфере. Мы геометры только по отношению к материи; а греки были геометрами, в первую очередь, в обучении добродетели.

Война в «Илиаде» идет так, будто качаются на качелях. Вот, сейчас победитель ощущает себя непобедимым, хотя несколькими часами раньше терпел поражение; но он не думает о том, и не относится к победе как к чему-то временному. К вечеру первого дня борьбы, из описанных в «Илиаде», победоносные греки, несомненно, могли заполучить предмет их усилий, то есть Елену и ее богатства, – во всяком случае, если допустить вместе с Гомером, что греческое войско не ошибалось, надеясь захватить Елену в Трое. Ибо осведомленные египетские жрецы впоследствии уверяли Геродота, что Елена находилась в Египте<sup>32</sup>. Но, как бы там ни было, в тот самый вечер грекам захотелось уже другого:

*«Нет, уж теперь не должны принимать мы богатства Париса  
Иль хоть Елену саму! Для глупцов, и для тех очевидно,  
Что над троянцами скоро готова уж грянуть погибель!»  
Так он сказал. В величайшем восторге вскричали ахейцы...»<sup>33</sup>*

Теперь они хотят не менее чем всего. Хотят всего богатства Трои в виде добычи, всех ее дворцов, храмов и домов в виде пепелищ, всех ее женщин и детей в виде рабов, всех ее мужчин в виде трупов... Но забывают одну деталь: забывают, что всё это не в их власти, потому что они не в Трое. Может быть, они будут в ней завтра. А может, и не будут.

В тот день и Гектор позволяет себе впасть в такое же забвение:

*Знаю и сам хорошо, – и сердцем, и духом я знаю:  
День придет, – и погибнет священная Троя. Погибнет  
Вместе с нею Приам и народ копьеносца Приама.  
Но сокрушает мне сердце не столько грядущее горе  
Жителей Трои, Гекубы самой и владыки Приама,  
Горе возлюбленных братьев, столь многих и храбрых, которых:  
На землю пыльную свергнут удары врагов разъяренных, –  
Сколько твое! Уведет тебя меднодоспешный ахеец,  
Льющую горькие слезы, и дней ты свободы лишишься.  
.....  
Пусть же, однако, умру я и буду засыпан землею,  
Раньше, чем громкий услышу твой вопль и позор твой увижу!»<sup>34</sup>*

<sup>32</sup> Геродот. История, II, 113 слл.

<sup>33</sup> 7, 403.

<sup>34</sup> 6, 447-455, 464-465 (прощание Гектора с Андромахой).

Чего бы ни отдал он в этот миг, чтобы отвратить ужасы, которые ему кажутся неминуемыми? Но если и отдаст, все будет напрасно. А через день греки постыдно побегут, и сам Агамемнон готов будет пуститься по морю вспять. И Гектор, с небольшими потерями добившись отступления врага, так же не захочет позволить им уйти с пустыми руками:

*... Чтобы до рано рожденной зари всю ночь непрерывно  
много горело костров, чтобы зарево к небу всходило,  
чтоб длиннокудрые мужи ахейцы в течение ночи  
не попытались бежать по хребту широчайшему моря,  
чтоб ни один не взошел на корабль безопасно и мирно,  
чтобы и дома потом он удар переваривал мощный,  
крепким копьем нанесенный или острой стрелой в то время,  
как на корабль свой он прыгал. Пускай и другие страшатся  
на конеборных троянцев идти с многослезной войною!<sup>35</sup>*

Он добился своего: греки остались. И послезавтра в полдень они сделают из него и его воинов нечто достойное жалости:

*Те ж на середине равнины бежали, подобно коровам,  
Если глубокою ночью явившийся лев их разгонит  
Всех, – для одной же из них появляется быстрая гибель;  
Шею сперва ей дробит, захвативши в могучие зубы,  
После же с жадностью кровь пожирает и потрохи жертвы.  
Так наседали на врагов Агамемнон владыка, все время  
Мужа последнего пикой сражая. Бежали троянцы<sup>36</sup>.*

Во второй половине дня Гектор снова берет верх, потом отступает, потом обращает греков в бегство, и снова Патрокл во главе подоспевших свежих отрядов отбрасывает его. Преследуя свои жертвы, Патрокл отрывается от товарищей и, наконец, утратив доспехи, раненый, оказывается беззащитным перед мечом Гектора<sup>37</sup>; и тем же вечером Гектор, гордый победой, встречает жестокими порицаниями благоразумный совет Полидамаса:

*Ныне ж, в то время как раз, как сын хитроумного Крона  
Дал мне славу добыть и к морю отбросить ахейцев –  
Мыслей подобных, глупец, не высказывай перед народом!  
Их никто не посмеет послушаться. Я не позволю!*

.....

---

<sup>35</sup> 8, 508-516 (речь Гектора).

<sup>36</sup> 11, 172-178.

<sup>37</sup> Патрокл был поражен не мечом, а копьем Гектора.

*Так говорил он. И криком его поддержали троянцы<sup>38</sup>.*

Назавтра Гектор погибает. Ахилл гонит его через все поле и сейчас уже убьет его. В битве он всегда стоял двух богатырей; а теперь, после многих недель отдыха, охваченный жаждой мести, окрыленный успехом, насколько сильнее он измотанного врага! И вот Гектор один под стенами Трои, совершенно один, убеждает свою душу достойно встретить приближающуюся смерть:

*Горе мне! Если отсюда в ворота и в стены я скроюсь,  
Первый же Полидамант мне поставит в урек...*

.....  
*Я не послушал его. А на много б то было полезней!  
Нынче ж, когда мой народ безрассудством своим погубил я,  
Я и троянцев стыжусь, и длинноодеждных троянок,  
Чтоб не сказал кто-нибудь, и родом, и доблестью худший:  
«Гектор народ погубил, на свою понадеявшись силу!»*

.....  
*Или, может быть, лучше и выпуклый щит мой, и крепкий  
ишем на землю сложить и, пику к стене прислонивши,  
прямо навстречу пойти безупречному сыну Пелея?..*

.....  
*Но для чего мое сердце волнуют подобные думы?  
Нечего мне к Ахиллесу идти! Мольбы не почтит он,  
Не пожалеет меня и, совсем как женщину, тут же  
Голого смерти предаст...<sup>39</sup>*

Гектор не избежал ни одной из скорбей, ни одного из бесчестий, выпадающих на долю несчастных. Одинокого, лишеного всякого престижа силы, его более не удерживает от бегства мужество, которое он сохранял еще недавно:

*Гектора трепет объял, как увидел его. Не решился  
Ждать он; пустился бежать, назади оставляя ворота.*

.....  
*Быстро неслись: ведь не жертвенный бык и не шкура бычачья  
Были их целью, – награда обычная мужу при беге, –  
За душу Гектора, коней смирителя, оба бежали<sup>40</sup>.*

Пораженный смертельным ударом, он увеличивает торжество победителя напрасными мольбами:

---

<sup>38</sup> 18, 293-296, 310.

<sup>39</sup> 22, 99-100, 103-107, 111-113, 122-125.

<sup>40</sup> 22, 136-137, 159-161.

*Ради души и колен твоих, ради родителей милых,  
В пищу меня не бросай, умоляю, ахейским собакам!..*<sup>41</sup>

Но слушатели «Илиады» знали, что смерть Гектора даст лишь недолгую радость Ахиллу, смерть Ахилла – лишь недолгую радость троянцам, уничтожение Трои – лишь недолгую радость ахейцам...

Так насилие сокрушает тех, кого оно касается. В конечном счете, оно являет себя внешней силой по отношению к тем, кто его производит, в такой же мере, как к тем, кто его терпит. Отсюда рождается идея рока, под властью которого палачи и жертвы одинаково невинны, победители и побежденные – братья по общей беде. Побежденный есть причина несчастья для победителя, равно как победитель – для побежденного.

*Сын у него лишь один, краткожизненный; даже и нынче  
Старости я не покою его. Далеко от отчизны  
Здесь я сижу, и тебя и твоих сыновей огорчая*<sup>42</sup>.

Сдержанность в использовании силы, – единственное, что дало бы нам разорвать эту цепь, – требует добродетели большей, нежели человеческая, столь же редкой, как неизменное сохранение достоинства в слабости. Впрочем, простая сдержанность не всегда предохраняет от опасности; ибо престиж, который создает сила, на три четверти и в первую очередь состоит из гордого безразличия сильного к слабым, безразличия, наподобие заразной болезни передающегося тем, кто является его объектом. При этом к превышению меры побуждает обычно не политическая идея. Почти непреодолимым является сам соблазн превышения. Трезвые слова порой звучат в «Илиаде»; слова Терсита, например, весьма разумны. Или слова рассерженного Ахилла:

*С жизнью, по мне, не сравнится ничто, – ни богатства, какими  
Троя, по слухам, владела, – прекрасно отстроенный город, –  
.....  
Можно, что хочешь, добыть, – и коров, и овец густорунных,  
Можно купить золотые треноги, коней златогривых, –  
Жизнь же назад получить невозможно; ее не добудешь...*<sup>43</sup>

Однако трезвые слова падают в пустоту. Если их выскажет низший, его накажут, и он замолчит; если вождь – то у него слова расходятся с делом. И каждый раз к его услугам найдется божество, которое посоветует поступить

---

<sup>41</sup> 22, 338-339.

<sup>42</sup> 24, 540-542.

<sup>43</sup> 9, 401-402, 406-408.

безрассудно. Наконец, сама мысль, что можно было бы стремиться избежать этого занятия, доставшегося в удел от судьбы, то есть, убивать и быть убитыми – эта мысль выпадает из сознания героев,

*...которым уж с детства  
Жизнь проводить предназначил Кронион до старости самой  
В войнах тяжелых, пока без остатка мы все не погибнем<sup>44</sup>.*

Эти воители так же, как много-много веков спустя солдаты в Краонне<sup>45</sup>, ощущали себя «поголовно приговоренными».

Они оказались в таком положении, попавшись в очень простую ловушку. Они идут к полю битвы с легким сердцем, как бывает всегда, когда с тобой твоя сила, а против тебя – пока никого. Идут с оружием в руках, врага не видно. Мы всегда гораздо сильнее врага, которого еще не видим, если только душа не подавлена заранее его грозной славой. То, что не перед нашими глазами, – еще не налагает на нас ига неотвратимости. Те, кто только идет на войну, пока не видят перед собой ничего неотвратимого, и поэтому идут как на игру, как на отдых от повседневной рутины.

*Где похвальбы, что от вас я когда-то на Лемносе слышал, –  
Как заявляли вы гордо, что нет нас на свете храбрее!  
Мясо быков пряморогих в обилии там поедая,  
Чаши до дна выпивая, вином до краев налитые,  
На сто, на двести троян, говорили вы, каждый из наших  
Выступит смело на бой. А теперь одного мы не стоим  
Гектора!..<sup>46</sup>*

Война не сразу перестает казаться игрой, даже когда ее уже вкусишь. Необходимость, свойственная войне, ужасна, и полностью отличается от той, что связана с мирными трудами; душа подчиняется ей только тогда, когда уже не в силах вырваться из ее рук. А пока она еще вырывается, проходят дни, не заполненные необходимостью, дни в игре, в мечтах, в мальчишестве, в отрыве от реальности. Опасность всё еще выглядит чем-то абстрактным; мы разбиваем жизни, словно ребенок ломает игрушки, и их не жаль; героизм остается театральной позой и приправлен бахвальством. А если еще прилив жизненной энергии на какое-то время умножает в нас силу действовать, то мы уж мним себя неотразимыми в доблести, по некоей божественной помощи, которая, конечно, оградит нас от поражения и смерти. Война еще кажется нам легкой, и мы любим ее подлой любовью.

---

<sup>44</sup> 14, 85–87.

<sup>45</sup> Селение и равнина на севере Франции, в ходе боев с апреля 1917 по май 1918 года много раз переходившие из рук в руки. О боях при Краонне была сложена песня с припевом: «Мы все здесь приговорены, все мы в жертву принесены». Симона помнила ее с детства.

<sup>46</sup> 8, 229–235.

Но это состояние у большинства длится недолго. Приходит день, когда или страх, или поражение, или смерть любимых друзей преклоняет душу бойца перед необходимостью. Тогда война перестает быть игрой и мечтой; тогда, наконец, понимаешь, что она идет реально. Это суровая реальность, бесконечно более суровая, чем может вынести душа; она заключает в себе смерть. С тех пор, как человек почувствовал, что его смерть возможна в самом деле, он не в силах постоянно носить внутри мысль о ней, – он вытерпит разве что короткие вспышки этой мысли. Понятно, что всем людям суждено умереть; однако, солдат среди битв может дожить и до старости. Но для тех, чьи души впряжены в ярмо войны, отношение между смертью и будущим является иным, чем для остальных людей. Для остальных смерть – это граница, пролегающая где-то впереди, в будущем. Для тех, кто воюет, смерть – само будущее, определенное им их ремеслом. Но иметь смерть в качестве будущего противно человеческой природе. С момента, как события войны дают ощутить возможность смерти, которая заполняет каждую минуту, – ведь ты можешь погибнуть в каждый следующий миг, – мысль становится не способной перейти от одного дня к другому иначе, как проходя через образы смерти. Такое напряжение разум может выдерживать лишь недолго; но каждый новый рассвет приносит одну и ту же необходимость; дни складываются в годы. День за днем душа претерпевает насилие. И каждый день ей приходится отсекаать свои устремления, потому что ее мысль более не может двигаться во времени, не проходя через смерть. Так война уничтожает всякую идею цели, включая и цели самой войны. Уничтожается сама мысль о том, чтобы положить войне конец. Человек не может постигнуть, как возможно столь болезненное состояние души, пока оно его не касается; когда же попадает в него, ему кажется непостижимым, как оно может кончиться. И он не делает ничего, чтобы приблизить этот конец. При виде вооруженного врага руки сами тянутся к оружию. Разум, казалось бы, должен неустанно искать способ избавиться от этого; но он потерял всякую способность сделать что-то для своего избавления. Весь без остатка он занят тем, что продолжает себя насиловать. У людей всегда, идет ли речь о рабстве или о войне, нестерпимые несчастья продлеваются за счет собственной инерции, и таким образом со стороны кажутся посильными. И они тянутся и тянутся, забирая ресурсы, необходимые душе, чтобы от них освободиться.

Однако душа, поработанная войной, взывает к освобождению; но даже и оно представляется ей в форме трагической, крайней – в форме разрушения. Сдержанный и трезвый выход способен обнажить перед нашей мыслью несчастье столь тяжкое, что его не под силу вынести даже как воспоминание. Ужас, боль, изнурение, массовые убийства, погибшие товарищи – человек не верит, что все это когда-нибудь перестанет грызть его душу; разве что новое опьянение силой придет и затопит пережитое? Мысль о том, что безмерные усилия были затрачены впустую, болезненна.

*Да неужели и впрямь вы отсюда домой побежите,  
Все побросавшись стремглав в корабли многовеслые ваши,  
На похвальбу и Приаму, и прочим троянцам оставив  
В городе этом Елену аргивскую, ради которой  
Столько ахейцев погибло далеко от родины милой?*<sup>47</sup>

*Значит, осаду снимаешь ты с широкоуличной Трои,  
Из-за которой так много мы всяческих бед претерпели?*<sup>48</sup>

Что такое Елена для Одиссея? И что для него сама Троя и все ее богатства, которые не возместят ему гибели Итаки? Троя и Елена важны для греков лишь как то, ради чего пролито столько крови и слез. Душа, которую вражда заставила убить в себе вложенное самой природой, не верит, что может излечиться иначе, как только уничтожив врага. В то же время смерть любимых друзей возбуждает в ней темное сореживание в смерти.

*Рад умереть я сейчас же, когда от опасности смертной  
Друга не мог защитить я! Далеко от родины милой  
Пал он, – и в этой беде я на помощь ему не явился!  
В милую землю родную обратно уж я не вернуся...*

.....  
*Против губителя мне дорогой головы выхожу я, –  
Гектора! Смерть же без страха приму я, как только ее мне  
Зевс пожелает послать и другие бессмертные боги*<sup>49</sup>.

Одно и то же отчаяние толкает и гибнуть, и убивать:

*Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть  
Здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я  
С боя, доколе войны не вкусят троянцы досыта!*<sup>50</sup>

Человек, в ком живет эта удвоенная потребность смерти, принадлежит, если его ничто не изменит, уже к иному роду, не к роду живых.

Какой отклик найдет в этом сердце робкая надежда на жизнь, когда побежденный умоляет, чтобы ему позволили увидеть свет завтрашнего дня? Уже то, что один вооружен, а другой лишен оружия, лишает почти всякого значения и жизнь просящего. Кто вытравил из своей души мысль, как сладок этот свет, – разве уважит он эту мысль в смиренной и тщетной мольбе другого?

*Ноги твои обнимаю, почти молящего, сжался!*

<sup>47</sup> 2, 174-178 (речь Афины к Одиссею).

<sup>48</sup> 14, 88-89 (Одиссей упрекает Агамемнона).

<sup>49</sup> 18, 98-101, 114-116 (Ахилл отвечает Фетиде).

<sup>50</sup> 19, 421-423 (ответ Ахилла своему вещему коню Ксанфу).

*Я, о питомец богов, – молящий, достойный почтения:  
Дара Деметры вкусил у тебя я у первого в доме  
В день тот, когда захватил ты меня в нашем саде цветущем.  
После на Лемнос священный ты продал меня, оторвавши  
И от отца, и от близких. Я сотней быков откупился.  
Нынче за цену тройную купил бы себе я свободу.  
Зорь лишь двенадцать минуло, как я в Илион воротился,  
После стольких страданий. Теперь же опять в твои руки  
Злой привел меня рок. Ненавистен, как видно, я Зевсу,  
Раз он опять меня отдал тебе. Родила кратковечным  
Мать Лаофоя меня...<sup>51</sup>*

И какой же отклик находит эта жалкая надежда?

*Милый, умри же и ты! С чего тебе так огорчаться?  
Жизни лишился Патрокл, – а ведь был тебя много он лучше!  
Разве не видишь, как сам я и ростом велик, и прекрасен?  
Знатного сын я отца, родился от бессмертной богини, –  
Смерть однако с могучей судьбой и меня поджидают.  
Утро настанет, иль вечер, иль полдень, – и в битве кровавой  
Душу исторгнет и мне какой-нибудь воин троянский...<sup>52</sup>*

Почтить жизнь другого, когда ты должен в самом себе обрубить всякую привязанность к жизни, – сделав такое усилие благородства, ты можешь разорвать себе сердце. Не приходится предполагать, что хоть кто-то из героев Гомера способен на такое усилие. За исключением, быть может, единственного, того, кто в некотором смысле находится в центре поэмы – Патрокла:

*Вспомните, как был приветлив несчастный Патрокл, и как с каждым  
Ласковым быть он умел, с кем встречаться ему приходилось  
В дни своей жизни<sup>53</sup>.*

По «Илиаде», он не совершил ничего жестокого или свирепого. Но за все тысячелетия истории многих ли мы знаем людей, давших примеры такого божественного великодушия? Хорошо, если назовем двух или трех<sup>54</sup>. Лишенный этого великодушия, солдат-победитель подобен стихийному бедствию. Одержимый войной, он так же, как и раб, хотя и совсем другим образом, стал вещью, и слова бессильны перед ним, как перед бездушной материей. И один и другой, вступив в контакт с силой, претерпели ее

<sup>51</sup> 21, 74-85 (мольба Ликаона перед Ахиллом).

<sup>52</sup> 21, 106-112.

<sup>53</sup> 17, 670-672.

<sup>54</sup> Речь идет не о вообще милосердии к побежденному, но о способности к милосердию в определенной, описанной выше психологической ситуации. – Прим. пер.

неотвратимое воздействие: кого она коснется, тех делает немыми или глухими.

Такова природа силы. Ее власть переделывать людей в вещи – двойка и обращена в обе стороны: по-разному, но в равной степени она мертвит души тех, кто ее испытывает на себе, и тех, кто ею обладает. Это свойство достигает предела в вооруженной борьбе, начиная с момента, когда она только начинает склоняться к исходу. Судьбы сражений решаются не среди тех, кто рассчитывает, планирует, принимает решения, выполняет команды, но среди тех, кто потеряли все эти способности, изменились и впали в состояние бездушной материи, в самую пассивность, или же, напротив, в состояние безраздельного порыва слепой стихии. Вот он, конечный секрет войны. «Илиада» выражает его сравнениями: воины уподобляются то пожару, потопу, вихрю, диким зверям, любому другому слепому бедствию, то, напротив, боязливому животным, деревьям, воде, песку – всему, что течет, подчиняясь давлению внешних сил. Греки и троянцы изо дня в день, а порой от часа к часу, претерпевают изменения в ту и в другую сторону:

*Он же, как гибельный лев, на коров нападая, которых  
На луговой низине широкой пасется без счета  
При пастухе неумелом...*

.....  
*Лев, в середину прыгнув, пожирать начинает корову,  
Все остальные же прочь разбегаются. Так же ахейцы  
Все пред Зевсом отцом и пред Гектором в страхе бежали<sup>55</sup>.*

*Так же, как хищный огонь на несрубленный лес нападает,  
Вихрь его всюду разносит, и падает вместе с корнями  
Частый кустарник вокруг под напором огня беспощадным,  
Падали головы так под рукою могучей Атрида  
В бег обращенных троянцев<sup>56</sup>.*

Искусство войны и есть не что иное, как искусство вызывать такие изменения. Не только материальные средства и боевые приемы, но и сама смерть, которую причиняют противнику – всё служит лишь этой цели; настоящим объектом являются сами души сражающихся. Но эти перемены всегда заключают в себе тайну, которую творят боги, ибо это они влияют на воображение людей. В чем бы оно ни состояло, это двойкое свойство умерщвлять души, – оно является важнейшим для силы; душа, испытавшая контакт с силой, может избежать этого воздействия разве что чудом. Но такие чудеса случаются редко и длятся недолго.

---

<sup>55</sup> 15, 630-632, 635-637.

<sup>56</sup> 11, 155-159.

Легкомыслие тех, кто без стеснения распоряжаются людьми и вещами, которые, как им кажется, зависят от их милости, отчаяние, делающее солдата разрушителем, беспредельная униженность раба и побежденного, резня – все это создает однообразную картину ужаса. Сила – единственный ее герой. Эта картина вышла бы монотонно-мрачной, если бы на ней не загорались местами светлые моменты, краткие, но божественные, когда люди ведут себя как имеющие живую душу. Душу, которая пробуждается ненадолго, чтобы почти сразу быть вновь подавленной тиранией силы, которая пробуждается чистой и целомудренной, и тогда нет никакого ощущения двусмысленности, лукавства, тревоги, но остаются лишь мужество и любовь. Порой человек обретает свою душу, раскрываясь перед самим собой, как Гектор у стен Трои, когда без помощи богов и людей, в полном одиночестве, он готовится встретить судьбу.

Другие моменты, когда люди обретают свою душу, – это когда они любят. Почти ни одна чистая форма любви между людьми не обойдена молчанием в «Илиаде».

Завет гостеприимства, сохраняемый в поколениях, преодолевает ослепление борьбы:

*Буду тебе я отныне средь Аргоса друг и хозяин,  
Ты же – в Ликии мне будешь, когда побывать там придется.  
С копьями ж нашими будем с тобой и в толпе расходиться...*<sup>57</sup>

Любовь сына к родителям, отца или матери к сыну, изображается многократно – в манере краткой, но трогательной:

*Сыну в ответ, заливаясь слезами, сказала Фетида:  
«Близок же, сын мой, твой смертный конец, если так говоришь  
ты!...»*<sup>58</sup>

Так же и любовь сестры к братьям:

*Видела братьев троих, рожденных мне матерью общей,  
Милых сердцу...*<sup>59</sup>

Супружеская любовь перед лицом несчастья отличается в «Илиаде» чистотой удивительной. Муж, говоря об унижениях рабства, которые ожидают его любимую жену, пропускает молчанием то, что могло бы преждевременно омрачить их взаимную нежность. Что может быть проще слов, обращенных супругой к тому, кто идет на смерть:

---

<sup>57</sup> 6, 224-226 (Встретившись в бою, Главк и Диомед вспоминают узы гостеприимства, связывающие их семьи).

<sup>58</sup> 18, 94-95 (речь Фетиды к Ахиллу).

<sup>59</sup> 19, 293 (плач Брисеиды).

*...если тебя потеряю,  
Лучше мне в землю сойти. Никакой уж мне больше не будет  
Радости в жизни, когда тебя гибель постигнет...»<sup>60</sup>*

Не менее трогательными словами она взывает к умершему супругу:

*Молод из жизни ушел ты, мой муж дорогой, и вдовую  
В доме меня покидаешь. И мал еще сын наш младенец,  
Нами, злосчастными, на свет рожденный, тобою и мною.  
Юности он не достигнет, я думаю...*

.....  
*Не протянул ты руки мне своей со смертельного ложа,  
Слова заветного мне не сказал, о котором бы вечно  
Я вспоминала и ночью, и днем, обливаясь слезами!<sup>61</sup>*

Прекраснейшая дружба – дружба между боевыми друзьями – составляет тему последних песен поэмы:

*...Но Пелид быстроногий  
Плакал, о друге своем вспоминая. Не брал его вовсе  
Всех покоряющий сон. На своей он метался постели...<sup>62</sup>*

Но самое чистое торжество любви, высшая милость войны, есть дружба, которая входит в сердца смертельных врагов. Она угащает жажду мести за убитого сына, за убитого друга, она – еще большее чудо! – упраздняет расстояние между благодетелем и тем, кто умоляет о милости, между победителем и побежденным:

*После того как питьем и едой утолили желанье,  
Долго Приам Дарданид удивлялся царю Ахиллесу,  
Как он велик и прекрасен; богам он казался подобным.  
Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму,  
Глядя на образ его благородный и слушая речи.  
Оба они наслаждались, один на другого взирая...<sup>63</sup>*

Эти моменты милости редки в «Илиаде», но их достаточно, чтобы дать нам почувствовать с величайшим сожалением то́ доброе в человеке, что губит и еще будет губить насилие.

Однако это нагромождение жестокостей еще не поражало бы нас, без того привкуса неисцелимой горечи, который чувствуется повсюду, хотя передается подчас одним-единственным словом, подчас даже перебоем

<sup>60</sup> 6, 410-413 (слова Андромахи Гектору).

<sup>61</sup> 24, 725-728, 743-745.

<sup>62</sup> 24, 3-5.

<sup>63</sup> 24, 628-633.

ритма, анжамбеманом. Вот чем уникальна «Илиада» – этой горечью, происходящей от нежности, которая простирается на всех людей, подобно солнечному свету. Ее тон не перестает отдавать горечью, но при этом никогда не опускается до жалобы. Справедливость и любовь, которым, кажется, нет места на этой картине неопикуемых, неправедных насилий – они, однако, омывают ее своим светом, ошутимым только в акцентах. Ничто из поистине ценного – обречено оно гибели или нет – поэт не презирает; слабость любого человека он показывает откровенно, но без пренебрежения, ни одного не изображая стоящим выше или ниже общего человеческого удела; все разрушаемое он описывает с сожалением. Победители и побежденные одинаково близки поэту и слушателю, все воспринимаются в равной степени как свои. Если и есть какое-то различие, то, пожалуй, несчастье врагов прочувствовано даже с большей скорбью.

*Так он на землю свалился и сном успокоился медным.  
Бедный погиб, горожан защищая, вдали от законной  
Верной жены...<sup>64</sup>*

С какой жалостью поэт напоминает участь юноши, проданного Ахиллом на Лемнос:

*Вместе с друзьями одиннадцать дней веселился он духом,  
Лемнос покинув; в двенадцатый день божество его снова  
Бросило в руки Пелида, который в аидово царство  
Должен его был отправить, хоть так умирать не хотел он!<sup>65</sup>*

А вот доля Эвфорба, который успел увидеть лишь один день войны:

*Кровью смочились кудри, подобные девам Харитам...<sup>66</sup>*

Когда оплакивают Гектора, защитника *и почтенных супруг, и детей несмышленных<sup>67</sup>*, этих слов достаточно, чтобы представить целомудрие, оскверненное грубой силой, и детей, отданных мечу. Источник у ворот Трои становится предметом мучительной жалости, когда описывается, как на бегу его пересекает Гектор, пытаясь спасти свою обреченную жизнь:

*Близко от них – водоемы, большие, прекрасные видом,  
Гладким обложены камнем. Одежды блестящие мыли  
Жены троянские там и прекрасные дочери прежде, –  
В мирное время, когда не пришли еще к Трое ахейцы.*

---

<sup>64</sup> 11, 241-242.

<sup>65</sup> 21, 45-48.

<sup>66</sup> 17, 51.

<sup>67</sup> 24, 730.

*Мимо промчались – один убегая, другой нагоняя...*<sup>68</sup>

Над всей «Илиадой» распростерта тень самого большого народного несчастья – разрушения города. Даже если бы поэт родился в Трое, он и тогда не смог бы показать это несчастье в более душераздирающем облике. Но тем же тоном он будет говорить и об ахейцах, погибающих вдали от родины.

Краткие напоминания о мирной жизни причиняют боль: настолько спокойной и наполненной предстает эта другая жизнь – жизнь живых:

*С самого утра все время, как день разрастался священный  
Тучами копья и стрелы летали, и падали люди.  
В час же, как муж-лесоруб начинает обед свой готовить,  
В горной усевшись лощине, когда он уж руки насытил,  
Лес срубая высокий, и в дух низошло пресыщенье,  
Сердце ж ему охватило желание сладостной пищи, –  
Силою доблести в час тот прорвали данайцы фаланги...*<sup>69</sup>

Всё, чего нет на войне, всё, что война разоряет, чему война угрожает, в «Илиаде» овеяно поэзией; но – не собственные дела войны. Переход между жизнью и смертью не прикрыт никакими умолчаниями:

*Под мозгом внизу пробежала блестящая пика,  
Белые кости врага своим острием расколола,  
Выбила, зубы ему. Глаза переполнились кровью  
Оба. Она изо рта, из ноздрей у него побежала.  
Черное облако смерти покрыло его отовсюду*<sup>70</sup>.

Хладнокровная жестокость дел войны ничем не замаскирована, ибо поэт не превозносит, не презирает и не ненавидит никого – ни победителей, ни побежденных. Колеблющийся исход битвы почти всегда решают судьба и боги. В границах, проведенных судьбой, боги полновластно распределяют победы и поражения. Это они каждый раз толкают на безрассудство или предательство, из-за чего мир каждый раз оказывается невозможен. Это их дело – война, и движут ее их капризы и козни. Что же до самих воинов, то сравнения, изображающие победителей и побежденных – с животными или бездушными предметами – не вызывают ни восхищения, ни презрения, но только жалость о людях, что они могут так исказиться.

Необыкновенная справедливость, которой вдохновлена «Илиада», имеет, возможно, и другие примеры, неизвестные нам, но она не имела подражателей. Трудно поверить, что поэт не троянец, а грек. Кажется, тон

---

<sup>68</sup> 22, 153-157.

<sup>69</sup> 11, 84-90.

<sup>70</sup> 16, 346-350.

поэмы несет прямое свидетельство происхождения ее наиболее древних частей: может быть, и история не даст нам большей ясности. Если верить Фукидиду, что восемьдесят лет спустя после разорения Трои ахейцы сами подверглись завоеванию, возникает вопрос, не являются ли эти песни, где железо упоминается лишь изредка, песнями побежденных, часть которых могла покинуть родные места. Принужденные жить и умереть «далеко от родины милой»<sup>71</sup>, подобно тем грекам, что пали под Троей, подобно троянцам, потерявшие свои города, они узнавали себя как в образах победителей – своих отцов, – так и в образах побежденных, чье горе напоминало их собственное. Спустя годы правда той войны могла раскрыться перед ними гораздо полнее, не прикрытая опьяняющей гордыней или унижением врага. Представив себя одновременно и победителями, и побежденными, они теперь могли понять то, чего ни победители, ни побежденные не знали, ибо те и другие были ослеплены. Это, впрочем, не более чем догадки; о временах столь отдаленных можно только гадать.

Как бы то ни было, эта поэма – настоящее чудо. Ее горечь порождается единственной законной причиной горечи – подвластностью человеческой души силе, то есть, в конечном счете, материи. Эта подвластность для всех смертных одинакова, хотя души переносят ее по-разному, сообразно степени их добродетели. Никто в «Илиаде» не избавлен от этого закона, как никто не избавлен от него на всей земле. Никого из тех, кто подвергается его действию, поэт не считает по этой причине достойными презрения. На всё, что как внутри души человека, так и в человеческих отношениях, стремится к освобождению от тирании силы, он взирает с любовью, но с любовью соболезнующей, ибо над всем этим нависает опасность разрушения. Вот каким духом проникнут единственный настоящий эпос, которым обладает Запад. «Одиссея» кажется только превосходным подражанием – отчасти «Илиаде», отчасти восточным поэмам; «Энеида» – имитация, которую, при всем блеске, портят холодность, риторика и дурной вкус. Средневековые героические песни не достигают подлинного величия, ибо в них отсутствует чувство равенства: в «Песни о Роланде» смерть врага переживается автором и читателем совсем не так, как смерть Роланда.

Аттическая трагедия – во всяком случае, трагедия Эсхила и Софокла – вот подлинное продолжение эпопеи Гомера. Идея справедливости ее освещает, не вторгаясь в нее; сила, являясь в своей холодной жестокости, всегда сопровождается здесь своими губительными действиями, от которых не убежать ни тому, кто применяет силу, ни тому, кто от нее страдает. Унижение души при этом не прикрыто, не окутано простой жалостью, но и не выставляется на позор. Нередко даже того, кто ранен унижением в несчастье, трагедия показывает достойным восхищения. Как впервые греческий гений проявился в «Илиаде», так в последний раз он чудесно выразил себя в Евангелии. Дух Греции заявляет здесь о себе не только тем, что предписано искать, вместо всего остального блага, «царства и правды

---

<sup>71</sup> 18, 99.

Отца нашего небесного», но также и тем, как представлена здесь человеческая слабость, причем в существе божественном, которое в то же время является человеком. Повествования о Страстях показывают, как божественный разум, соединенный с плотью, сокрушается в несчастье, трепещет перед страданием и смертью, как, находясь на дне отчаяния, он чувствует себя отлученным от людей и от Бога. Понимание человеческой слабости дает Страстям эту простоту, которая есть отличительная черта греческого гения, составляя главную ценность аттической трагедии и «Илиады». Есть там слова, звучащие странной близостью к словам эпоса; и троянский юноша, отправленный в Аид, «хоть так умирать не хотел он», сразу приходит на память, когда Христос говорит Петру: «Другой тебя опояшет и поведет, куда не хочешь». Эта простота неотделима от мысли, которой одушевлено Евангелие; ибо понимание человеческой слабости есть условие справедливости и любви. Кто не познал, сколь крепко повороты судьбы и необходимость держат во власти любую человеческую душу, тот не сможет смотреть как на подобных себе и любить, как самого себя, людей, которых случайные обстоятельства отделили от него пропастью. Разнообразие мотивов, которым подчиняется человеческое поведение, создает иллюзию, что существуют разные породы людей, которым не дано общаться между собой. Любить и быть справедливым может только тот, кто познал на себе власть силы – и научился не угождать ей.

Наблюдая отношения между человеческой душой и судьбой, в ходе которых каждая душа выстраивает собственную участь, – и то, что необходимость неумолимо переделывает в любой душе, какова бы она ни была, игрою изменчивой судьбы; и то, что добродетель и благодать в ней могут сохранить неповрежденным – наблюдая всё это, легко и соблазнительно ошибиться. Высокомерие, унижение, презрение, ненависть, безразличие, желание забыть или отговориться незнанием – всё способствует такому соблазну. В частности, крайне редко люди могут верно представить меру чужого несчастья. А приглаголивая его, они почти всегда притворяются, будто сами верят в то, что потери есть врожденное призвание этих несчастных, или в то, что на душе, перенесшей несчастье, не останутся навсегда его характерные, исключительные отметины. Греки весьма часто обладали такой силой души, которая позволяла им не обманывать себя. За это они были вознаграждены: ибо и во всем остальном они умели достигнуть высшей ясности, чистоты и простоты. Но дух, перешедший от «Илиады» к Евангелию через мыслителей и трагических поэтов, не вышел за границы греческой цивилизации; а после того как он был подавлен в самой Греции, остались только отблески.

Зато римляне и евреи считали себя свободными от общей человеческой слабости: первые – как нация, которую сама судьба избрала господствовать над миром, а вторые – по милости их Бога и по мере их послушания перед Ним. Римляне презирали иные народы, побежденных, данников, рабов: и вот, они не создали ни эпосов, ни трагедий. Взамен

трагедий у них были гладиаторские бои. Евреи смотрели на несчастье, как на клеймо греха и, следовательно, как на законный повод для презрения. Они верили, что на побежденных ими врагов сам Бог «навел ужас» и обрек на искупление их нечестия, что делало жестокость по отношению к ним позволительной и даже необходимой. И ни в одном тексте Ветхого Завета не слышится нот, созвучных греческой эпосе, за исключением, может быть, некоторых мест поэмы об Иове. И в течение двадцати веков христианства, всякий раз, когда требовалось оправдать преступление, именно римлян и евреев восхваляли, приводили в пример, повторяли как в речах, так и в делах.

Но и дух Евангелия перешел к последующим поколениям христиан в чистом виде. Уже с первых веков они стали считать знаком благодати, что мученики переносят страдания и смерть с радостью: как будто действие благодати в простых людях могло быть бóльшим, чем в самом Христе. Если мы знаем из Евангелия, что сам Бог, ставший человеком, не мог не трепетать от тоски, глядя в глаза своей участи, то должны понимать, что встать по видимости выше человеческой немощи могут только люди, в чьих глазах суровость смерти затуманена иллюзией, упоением или фанатизмом. Не будучи прикрыт доспехом обмана, человек не может вытерпеть действие силы без того, чтобы оно пронзило его до самой души. Благодать способна воспрепятствовать тому, чтобы это воздействие извратило душу человека, но она не может предохранить его от раны. Слишком забыв об этом, христианская традиция крайне редко достигала той простоты, что звучит так пронзительно в каждой фразе повествования о Страстях. С другой стороны, вошедшее в привычку насилие в делах веры уже не давало тем, кто применял силу, видеть воздействие этой силы на людские души.

Несмотря на недолгую увлеченность, вызванную открытием греческих текстов в эпоху Возрождения, греческий гений за эти двадцать веков так и не был воскрешен. Что-то от него проглядывает у Вийона, у Шекспира, у Сервантеса, у Мольера, однажды – у Расина. Слабость человека – правда, в том, что касается любви – обнажена в «Школе жен» и в «Федре»: то был странный век, когда, в противоположность временам эпическим, эту слабость дозволялось показать разве что в любви, но действие на душу силы в войне, в политике полагалось по-прежнему окутывать туманом славы. Вероятно, можно прибавить и другие имена. Но никакое произведение народов Европы не станет вровень с первой известной поэмой, явившейся у одного из них. Может быть, они еще обретут заново эпический гений, когда научатся не верить более в убежища от человеческой участи, научатся не восхищаться силой, научатся не ненавидеть врага и не презирать несчастного. Но сомнительно, что это сбудется скоро.

